

ходите слева»), хоть и вызывает у Анастасии Ермаковой сочувствие (вслед за Куприным), в конечном итоге все-таки отрицается, превращаясь (вслед за Буниным) в нечто мертвое, лишенное чувственности, которой полон весь мир, даже звезды кажутся лирической героине чувственными. Это полнота жизни. И все, что чувств и живых ощущений лишено, становится мертвым, как «нежилой застоявшийся воздух грустных музеев, силящихся поймать время, законсервировав его в фотографиях, рукописях, предметах обихода. Но все это — образ смерти, пыльного забвения, потревоженного очередной группой курортных зевак».

Жизнь, только жизнь — вот лейтмотив рассказов. И с пронзительными нотами печали сплетается мелодия счастья, создавая «неповторимую бескорыстную мозаику бытия. Драгоценную мороку существования».

Немалое место занимает в книге и «писательская тема». Несколько чеховский рассказ «Лето звонкое» вызывает улыбку, а вот другая новелла — «Мертвый груз», скорее, печаль. «Мертвый груз живых мыслей, радостей и разочарований, мертвый груз моей единственной жизни» — это нераспроданные книги героини — молодой писательницы, которая представляет на книжной ярмарке только что изданную и не верит, что хоть кто-то заинтересуется ее творчеством. Но из рассказа видно: писательница талантлива, просто пишет не коммерческую прозу, а следует зову души, не поддаваясь моде. Еще один «литературный рассказ» — «Псевдоним». Опять же писательница, рассматривая чужие фамилии на памятниках, решает выбрать себе звучный псевдоним, но вдруг задается вопросом: «Вдруг чужая фамилия прилепит ко мне, как жвачку к столу, чужую судьбу, и от нее уже невозможно будет отделаться?» Действительно, псевдоним может изменить судьбу. Иногда в лучшую сторону. Не факт, что обязательно в сторону известности. Но иногда чужая фамилия приносит и чужие несчастья...

Интересны интуитивные прозрения, которыми наделяет Анастасия Ермакова свою героиню, порой ощущающую себя сосудом, «в котором хранится бесплотное: взгляды, жесты, голоса», — они обогащают рассказы как бы дополнительным измерением, совершая магический синтез внешней реальности и внутреннего мира, дарующий сознанию поэтическую гармонию. Есть в рассказах и то место на Земле, где гармония особенно радужна: это дача — «самодельный рай»: «Место, где не бывает скучно. Яблони, облака, цветы... Долгий жаркий обморок лета. Шесть соток зеленого покоя. Простор цветущих выходных. Чаепитие на открытой террасе. Комариные вечера. Теплой луной разнеженные ночи». Живым и теплым получился образ бабушки — хозяйки этого «самодельного рая»...

Как-то в журнале «Нева» Т. Янковская, размышляя, в частности, и о рассказах Анастасии Ермаковой, очень точно заметила: «...сколько бы ни говорили, что искусство не должно ничему учить, хорошие книги так же важны для нравственного здоровья, как свежий воздух, чистая вода и пища для здоровья физического. Это часть нашей среды обитания».

И как хорошо, если в этой «среде обитания» чувствуется легкое дыхание поэзии...

**Мария БУШУЕВА**

## **ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗА**

**Александр Ливергант. Вирджиния Вулф. Моменты бытия.**

445-страничная книга Александра Ливерганта «Вирджиния Вулф. Моменты бытия» напоминает гигантский корабль, доvezший до наших берегов большой груз.

«Груз» — морская условность, ибо корабль — лайнер, на котором прибыло огромное число пассажиров, практически вся интеллектуальная элита Британии начала XX века.

И как бы мы ни смотрели на это сходящее к нам сонмище людей (я, например, вижу себя офицером таможенного или паспортного контроля, недоверчивым по определению) — одно достоинство книги заметно сразу: Александр Ливергант как-то умеет управиться с таким совершенно диким количеством народа. Русский язык с его флексиями порой бывает неповоротлив, неподходящ для служебно-технических задач: кратко объяснить, кто кем кому доводится, «что X сказал, что Y сказал, что Z...»

А «компания Вульф»: нескончаемый поток от Теккеря (отец первой жены ее отца) до Элиота, Джойса, Бунина. Трудно и вообразить «на наши деньги», но это примерно как сообщество от Гоголя до Фадеева... И не просто хронологические скобки, вокруг Вульф почти каждый с каждым связан: родственно, приятельски, литературно-издательски. Рецензенты уже хвалили Ливерганта за бодрое начало книги, мой «респект» — именно его быстрому Who is Who, где генеалогические стрелки чередуются с портретами, анамнезами, блиц-оценками книг:

Когда в 1875 году сорокатрехлетний радикал, атеист, вольнодумец, издатель и автор первого издания многотомного «Словаря национальной биографии» сэра Лесли Стивен потерял умершую в расцвете лет жену, он посчитал, что жизнь кончилась. Она же только начиналась: накануне смерти жены, младшей дочери Теккеря, Харриет Мэриан, женщины не слишком красивой, не слишком умной и не слишком заметной, в доме Стивенсов впервые появилась близкая подруга Харриет — сама, несмотря на юный возраст, вдова с тремя детьми, миссис Герберт Дакуорт, урожденная Джулия Джексон. Очень скоро Джулия сблизилась с домочадцами покойной Харриет, в особенности же с главой семьи, и спустя два с половиной года, в марте 1878-го, вышла за Лесли Стивена замуж...

За последующие пять лет Джулия родила сэру Лесли четверых детей, двух мальчиков — Тобиаса и Адриана, и двух девочек — Ванессу, самую старшую из четверых, и Вирджинию... Лаура, дочь сэра Лесли от первого брака, — девушка, как и ее бабка, жена Теккеря, психически неполноценная...

Говоря искренне и пытаюсь подражать ухватистой динамичности автора, признаюсь сразу: проза Вирджинии Вульф не очень-то меня трогает. И если вдруг целью Александра Ливерганта было поднять «спрос» на нее... Но почему-то кажется, что и цели такой не было, эпоха, окружение В. В. выписаны гораздо интереснее, колоритнее.

Зато закрыв книгу Ливерганта, очень захотелось (N-й раз) перечитать Ивлину Во, особенно «Мерзкую плоть», «Возвращение в Брайдсхед». Сродни формату «фильм о фильме» жизнеописание Вульф выдает роскошный бэкграунд. В воспоминаниях самого Во (серия Вагриуса «Мой XX век») столько не найти, хотя и мелькает этот магический топоним... Блумсбери.

Дом Стивенсов (девичья фамилия Вирджинии) в этом не самом престижном районе Лондона стал местом собрания самой блестящей группы интеллектуалов Британии. Как ей, старшей сестре Ванессе и братьям это удалось — до конца непонятно, но известные литераторы и ученые эпохи Л. Стречи, Э. Форстер, Д. Гарнетт, К. Белл, Р. Фрай, А. Уэйли, художники Д. Каррингтон, Д. Грант стали по четвергам собираться у них. А еще блумсберийцами стали будущий нобелиант Бертран Рассел, экономист Джон Мейнард Кейнс (советскому студенту 1980-х годов памятно: «кейнсианство — верх политэкономической мысли Запада»). Общая альма-матер Кембридж? — трудно признать сей мотив достаточным, наверно, сказалось многообразие талантов, «духовной и телесной красоты» сестер.

«Гид» Ливергант успевает рассказать о всех, ловко перепрыгивая словно с камня на камень:

Белл, как и Стрэчи, как и все блумсберийцы, которые никогда не придерживались ни единой философской доктрины, ни единой эстетической системы, был иконоборцем и формалистом. В своей книге «Искусство» он выдвинул близкую модернистам идею «значимой формы» (“significant form”), по поводу чего ядовито высказался проходной персонаж романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед»: «Идею “значимой формы” следует либо принять, либо отвергнуть in toto. Если признать третье измерение на двухмерном полотне Сезанна, тогда приходится признать и преданный блеск в глазу лэндсировского спаниеля»...

Большинство блумсберийцев были гомосексуалистами не только на практике, но и в теории: «женщины ниже мужчин и телом и духом». К сексуальной свободе призывали не только на словах: на Бал постимпрессионистов сестры Стивен, к вящему ужасу собравшихся, явились с голыми плечами и голыми ногами, изображая то ли таитянок Гогена, то ли танцовщиц Дега. Вместе с младшим братом Адрианом и его кембриджскими приятелями Вирджиния заявила, переодевшись абиссинцем: тюрбан, золотая цепь до пояса, вышитый кафтан, на флагманский линкор королевского военно-морского флота «Дредноут» (это, согласитесь, уже «чистый Ивлин Во». — *И. Ш.*) Молва как обычно, приписывала им непотребства, которых они не совершали; прошел слух, что Ванесса Стивен и Мейнард Кейнс совокуплялись посреди переполненной гостиной у всех на глазах. Столь вызывающе блумсберийцы, разумеется, себя не вели. И вместе с тем у юного Десмонда Маккарти была давняя и ни от кого не скрываемая связь с престарелой мисс Корниш. Гомосексуалист Литтон Стрэчи делал предложение Вирджинии и при этом был любовником еще одного блумсберийца, художника Дункана Гранта. Грант, в свою очередь, был любовником Кейнса и, одновременно, Ванессы, жены Белла, которая, в свою очередь, одно время была любовницей Фрая; Белл же, у которого до Гранта был роман с тем же Фраем, не один год был не на шутку увлечен Вирджинией...

Это, перефразируя Толстого, «срывание всех и всяческих штанов» не заслоняет богатейшей литературной, интеллектуальной жизни Блумсбери. Они дали импульс другому известному сообществу — фабианцев. Впрочем, одним словом взаимодействия тогдашних кружков не описать, их полный гербарий как раз и собран в рецензируемой книге:

Неоязычников отличали стремление к простой, незамысловатой, «здоровой» жизни, социалистические (фабианские) убеждения, неприкрытый антисемитизм и гетеросексуальность (в отличие от гомосексуализма блумсберийцев). Через Ка-Кокс, так же, как и Вирджиния, посещавшей блумсберийский клуб «По пятницам», Вирджиния познакомилась и подружилась с одним из самых блестящих неоязычников, уже упоминавшимся Рупертом Бруком, на дух не переносившим эстетства блумсберийцев...

И салон леди Морррелл на Бедфорд-сквер:

Нас всех занесло в этот немислимый круговорот, вспоминала Вирджиния про салон. Кого там только не было: и зловещий Огастес Джон в тесных черных ботинках и бархатном сюртуке. И Уинстон Черчилль, румяный, весь в золотом кружеве, по пути в Букингемский дворец. И Реймонд Асквит, искрящийся остроумными репликами...

Фамилий действительно много, перед нами же Панорама! Белинский бы сказал: Энциклопедия английской жизни.

— «Литературной жизни?» — уточните вы.

— Какая разница! Танцуют (пишут) все! Морской министр и премьер в двух мировых войнах даже получает литературную Нобелевку! И даже — заслуженно! (Доводилось писать о его «Истории англоговорящего народа», «Второй мировой войне».) Вирджиния застала его еще юношески румяным — а не покрасневшимся от сталинского коньяка. Но историческая (без особой натяжки) роль Вирджинии Вульф не в том, что она была душой Блумсбери. Пришло время и великим трудам на ниве...

— Заказав станок, они (с мужем Леонардом. — *И. Ш.*) из авторов превратились в издателей с собственной, домашней типографией, это превращение обошлось им всего-то в 40 фунтов стерлингов — сумма, впрочем, для Вулфов, живших в основном на 400 фунтов в год — доход от наследства Вирджинии, не такая уж скромная. Как бы то ни было, покупка имела далеко идущие последствия.

Приобрести и установить станок — сначала в столовой, а потом в подвале Хогарт-хаус — особого труда не составило. А вот выучиться набирать, печатать и переплетать книжки, даже совсем небольшие и без иллюстраций, оказалось делом непростым.

...И домашнее предприятие «Хогарт-пресс» стало, возможно, самым влиятельным издательством XX века. Лист авторов, порой открытых Вульфами, поражает:

Элиот, американский психолог Уильям Джеймс («поток сознания»), Анри Бергсон, Джеймс Фрейзер, Стивен Спендер, Кэтрин Мэнсфилд, Роберт Грейвз, Кристофер Ишервуд, Генри Грин, Эдмунд Чарльз Бланден, Итало Звево, Рильке. Критик Вирджиния превозносила русскую прозу: «Во всех великих русских писателях мы обнаруживаем черты святости — если сочувствие к чужим страданиям, любовь к ближнему, стремление достичь цели, достойной самых строгих требований духа, составляют святость». Печатала *Горького*, *Булгина*, Брюсова. И рядом — Фрейд, открытый миру (я верю Ливерганту!) издателем Вульф.

Что же удерживает распространить мое восхищение и на ее собственные книги? Вот роман «По морю прочь»:

Повествование многословное, неторопливое, плавание в Южную Америку главных героев... Читателю предлагается погрузиться в пространные описания природы, увлечься лирическими и историческими отступлениями: в книге дается подробный экскурс в историю вымышленного бразильского городка Санта-Марина, куда направляются персонажи романа.

«Пространные описания природы» автора, не приближавшегося к ней (природе) и на 20 000 миль? «Творившего» по путеводителям из пятых рук? «Глядя из Лондона», была программа BBC. Конечно, писатель — не кинодокументалист, имеет право... на «крыльях Пегаса»... Но в сочетании с теми вечными домашними выдумываниями стран, домашней газетой это смахивает на симптом, и Вирджиния выдает сей (пока литературный) недуг, посвятив одну из первых (вторую) своих статей «Хоуорт, ноябрь 1904 года» — поездке (паломничеству) в Хоуорт, на родину горячо ею любимых сестер Бронте. Хотя в эссе «„Джейн Эйр“ и „Грозовой перевал“» (1916) есть признание: «Такие писатели, как сестры Бронте, сосредоточенные на себе и ограниченные собою, обладают впечатлениями, заключенными в узких границах».

Наверно, не очень политкорректна ирония по поводу судеб угнетенных гувернанток, учительниц с их единственной скромной детской отрадой: сочинительством напегонки, выдумыванием стран. Но само проецирование творчества внутри «детской»

на последующую, увы недолгую, жизнь? Судьбы под копирку (там, кроме трех сестер, почти инвариантный брат), напоминающие Ильфа—Петрова: «В уездном городе N было так много парикмахерских и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтоб побриться, остричься и сразу же умереть» — только в случае Бронте: не побриться, а написать роман.

Тут (даже не в последующем упоминании лесбийства Вирджинии!) — наиболее рискованный мой пункт, ибо «сосредоточенность на себе, ограниченность собою» — не от эгоизма, снобизма Бронте и Вульф, а от судьбы, отпущенного здоровья, и любая критика — на грани насмешки над больным. Но поистине жалки, почти гротескно символичны попытки Вирджинии «выйти в жизнь»:

Современная Греция с ее грязью, клопами, нищими мало походила на Древнюю Элладу. В Олимпии юные путешественники напились сырого молока, после чего Ванесса и Вайолет, сильно захворав с трудом добрались до дома. Весь обратный путь Ванессе было так плохо, что ее приходилось нести, она то и дело теряла сознание. Всеобщий же любимец Тоби вернулся в Лондон, слег с высокой температурой и спустя две недели в возрасте двадцати шести лет умер.

Кого они думали встретить в Греции 1906 года? Платона? Гомера с поводьрем? Аспазию, Пиндара? Сафо? (Более заинтересовала бы Вирджинию.) Удар сырого молока (аллегория жизни). А смерть Тоби, брата Ванессы и Вирджинии, — в терминах XXI века просто: косплей брата сестер Бронте.

Как и писание романов не выходя из комнаты, ее лесбийские склонности — тоже «родом из детства», затянувшегося:

Это «однополое» увлечение (причем женщинами, как правило, значительно старше себя) было у Вирджинии не первым. За несколько лет до этого она, тогда еще совершенно здоровая, столь же неожиданно увлеклась Мэдж Саймондс, по мужу — Воган, дочерью уже упоминавшегося Джона Эддингтона Саймондса. Насколько сильным было это увлечение мы видим по ее письмам, а также по дневнику, которому, как и все шестнадцатилетние девицы, Вирджиния поверяла душевные радости и горести...

И как поет Мик Джаггер («Роллинг стоунз») на одном из лучших своих сольников: «Old habits die hard» (Старые привычки умирают тяжело).

14 декабря 1922г она впервые встречается с предметом своей многолетней любви — писательницей Витой Сэвилл-Уэст, женой видного дипломата Гарольда Николсона.

В миссис Николсон трудно было не влюбиться: испанских кровей, потомственная аристократка (в XVI веке ее предку был пожалован титул графа Дорсетского), огромные карие глаза, горделивая посадка головы. Вита была хороша собой, величественна, даже меланхолична, при этом отличалась бурным темпераментом. Не слишком умная, но наблюдательная, ироничная, она сочиняла стихи и романы и удостоилась (в отличие, между прочим, от Вирджинии Вулф) престижной Хоторнденской премии. В отличие от именитой подруги, Вита не стремилась свою литературную продукцию по многу раз переписывать — «написано, и с плеч долой». К Вирджинии она не только испытывает, причем с первой же встречи, сильное чувство, но и высоко ценит ее книги, признает ее интеллектуальное и профессиональное превосходство.

Прочитай эти фрагменты сама Вирджиния... думаю, скорее пожурит Ливерганта за слишком скромный викторианский тон (который неустанно громила вместе со

своей «блумсберийской армией»)... Болезни, жизненные драмы Вирджинии он подает столь же сдержанно, но и мастерски: напряженность нарастает, как в древнегреческой трагедии. Почти с детства она подвержена частым и тяжким маниакально-депрессивным психозам.

— К бессоннице и стойкому нежеланию принимать пищу прибавляются галлюцинации, постоянный страх, что она всем мешает.

Праматерь не только сегодняшних феминисток, но и анорексичек... И все-таки подход Ливерганта, выписавшего Вирджинию на гигантском полотне эпохи среди сотни персонажей, стал лучшим оправданием. Вот и Александр Мелихов увлеченно пишет о книге Ливерганта, признаваясь, что сама героиня — скучновата... Но как ни относиться к ее книгам, нельзя не признать: на ней, старомодно выражаясь, «перст Божий». Ее «группе», ее авторам выпало маркировать начало новой литературы — «модерна». Да еще и показать, как литература переходя на смежные сферы диктует стиль новой эпохи.

Вот, наверно, почему книга Ливерганта привиделась гигантским кораблем. Ведь знаменитым маркером предыдущей эпохи, *Belle Époque*, стала, как известно, гибель «Титаника» (1912). Парадокс, даже Каприз, все понимают: гибель — это Первая мировая война, но упрямо повторяют: «„Титаник“! А потом и все покатило». Знаменитый фильм Феллини «И корабль плывет» именно об этом: прощание с дивой, звездой *Belle Époque*, гибель ностальгического лайнера, затем австрийского линкора, затем война...

И Ливергантов корабль «Вирджиния» видится «Титаником», увернувшимся от айсберга, «Лузитанией» — от торпеды, доvezший нам образы, стиль жизни людей *Belle Époque*. Пережив ее, создав свой нервный модерн, они сохранили некую уязвленность. Герои Ивлины Во «Офицеры и джентльмены» в 1945 году, «после всего», говорят о желании смерти (об этом целая глава). А Вирджиния Вульф, не Ливергантов корабль, а невероятно красивая и талантливая женщина, не сдержалась раньше: 28 марта 1941 года она надела пальто, набив карманы камнями, и, уйдя из дома, ушла под воду.

Трагизм ее жизни нарастал, тут сам Вольтер, оставив свои сарказмы, потянулся бы за платком. Леонард Вульф, почти единственный в Блумсбери гетеро, становится ее мужем. Практически идеальным! И Вирджиния, ранее испытывавшая «гордость и предубеждение» в отношении евреев (см. ее романы, в смысле: произведения) и мужчин (см. ее «романы», в смысле: увлечения), годами третировавшая супруга, в итоге понимает это. Пишет единомышленнице суфражистке Этель Смит: «Как я ненавидела брак с евреем — что за снобом я была, ибо они имеют огромную стойкость».

Под градом ударов, добивающих ее несчастный разум, она пишет ему потрясающее предсмертное письмо.

Александр Ливергант смущен («Почти все биографии Вирджинии Вулф кончаются одинаково. Письмом Вирджинии Леонарду») — но за оригинальностью не гонится и заканчивает им же:

Ты подарил мне счастье, больше которого не бывает. Ты был для меня всем, всем во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не началась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что поручу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать. И ты будешь работать, я верю. Видишь, я даже простую записку и ту уже не способна написать. Я не могу читать. Просто мне хотелось сказать, что именно тебе я обязана всем, что было хорошего в моей жизни. Ты был невероятно терпелив и удивительно добр. Мне хочется это сказать, хотя это и без того всем известно. Если кто-то и мог бы меня спасти, так только ты. Я потеряла все, кроме уверенности в твоей доброте...

Точнее, у Ливерганта будет еще Эпилог, но это уже не «Моменты бытия» (напомню титул книги), а... (простите рецензенту сей термин): «Ирония постбытия» Вирджинии Вулф:

Прежний владелец (особняка Вульфов), дабы придать весу себе, своим апартаментам, повесил на двери объявление следующего содержания: «Талланд-хаус. Здесь жила Вирджиния Вулф, жена известного прозаика».

Новые же хозяйева квартиры пожаловались Гермione Ли, автору восьмисотстраничного жизнеописания Вирджинии Вулф, что, когда они эту квартиру покупали, то «думать не думали об этой треклятой женщине». Однако со временем поняли, сколь опрометчиво поступили: «Войдешь в гостиную — а там американцы! Заглянешь в ванную — а там австралийцы!» Владельцам квартиры не позавидуешь: не зарастает народная тропа к «этой треклятой женщине», писавшей на таком английском языке, который «жжет страницы».

Блестяще! С долей литературного садизма надеюсь, что книга Ливерганта умножит жалобы домовладелицы: «Войдешь в кухню — а там русские!»

**Игорь ШУМЕЙКО**

## **МЕЖДУ ДОМОМ И ДОРОГОЙ**

**Вера Зубарева. Ангел на ветке. Повести, рассказы и записки из блога. М., ЭКСМО, 2019. — 190 с.**

Ступает вкрадчивой походкой Вера Зубарева собственной лирической тропой, регулярно сбиваясь на прозу жизни, которая из-под ее пера выходит столь же поэтичной, пусть и нерифмованной. Неизбывным достоинством пронизано все, сошедшее с рабочего стола Веры, будь-то Дом с его чудными обитателями, непростые Дороги эмиграции, дивно очеловеченный перевертыш «Собакиады», фейный панегирик «Ольге Юрьевне», нумерологические тайны в поэзии Беллы Ахмадулиной, грандиозный ангельский трактат, рассказ-притча «Лизавета Сергевна» или заумный фолиант, доступный лишь подготовленному читателю.

Каждый автор вольно или невольно выбирает своеобразную личную нишу для себя и своих произведений в соответствии с личными склонностями и притязаниями. Слегка переиначу хрестоматийное «о времени и о себе» — сохранить верность себе во время перемен. И процесс этот обретает принципиальную значимость, когда в обществе назревают и происходят геологические катаклизмы, перестают быть востребованными некогда облюбленные реалистическими монстрами штампы с неперемными атрибутами оптимистических плакатов гражданского звучания, за которыми скрывался весь ужас магистрального тупика человечества. В новых условиях для авторов творчество становится не только делом выживания, но и проверкой нравственных качеств, верности своему таланту. Не стоит озабочиваться всеми сложностями и тем, кто и как с ними справлялся, тем более что они имеют к героине очерка лишь косвенное отношение, вроде декораций, орнаментирующих действие. Это всего лишь контекст, из которого Вера выносит себя за скобки, обращаясь к себе, безотносительно к конъюнктуре. Я обозначаю только арену театра литературного процесса, а Вера Зубарева — прозаик и поэт, сама определила себе место в строю и траекторию личной направленности. Самобытная поэзия, синкретическая сращенность с прозой и научными изыска-